

Есть лишь одна проблема —
одна-единственная в мире —
вернуть людям духовное содержание,
духовные заботы...

А. де Сент-Экзюпери

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У таможенника было гладкое округлое лицо, выражающее самые добрые чувства. Он был почтительно-приветлив и благожелателен.

— Добро пожаловать,— негромко произнес он.— Как вам нравится наше солнце? — Он взглянул на паспорт в моей руке.— Прекрасное утро, не правда ли?

Я протянул ему паспорт и поставил чемодан на белый барьер. Таможенник бегло пролистал страницы длинными осторожными пальцами. На нем был белый мундир с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах. Он отложил паспорт и коснулся кончиком пальца чемодана.

— Забавно,— сказал он.— Чехол еще не высох. Трудно представить себе, что где-то может быть ненастье.

— Да, у нас уже осень,— со вздохом сказал я, открывая чемодан.

Таможенник сочувственно улыбнулся и рассеянно заглянул внутрь.

— Под нашим солнцем невозможно представить себе осень,— сказал он.— Благодарю вас, вполне достаточно...
Дождь, мокрые крыши, ветер...

— А если под бельем у меня что-нибудь спрятано? — спросил я. Не люблю разговоров о погоде.

Он от души рассмеялся.

— Пустая формальность, — сказал он. — Традиция. Если угодно, условный рефлекс всех таможенников. — Он протянул мне лист плотной бумаги. — А вот и еще один условный рефлекс. Прочтите, это довольно необычно. И подпишите, если вас не затруднит.

Я прочел. Это был закон об иммиграции, отпечатанный изящным курсивом на четырех языках. Иммиграция категорически запрещалась. Таможенник смотрел на меня.

— Любопытно, не правда ли? — сказал он.

— Во всяком случае, это интригует, — ответил я, доставая авторучку. — Где нужно расписаться?

— Где и как угодно, — сказал таможенник. — Хоть поперек.

Я расписался под русским текстом поперек строчки: «С законом об иммиграции ознакомился (лась)».

— Благодарю вас, — сказал таможенник, пряча бумагу в стол. — Теперь вы знаете практически все наши законы. И в течение всего срока... Сколько вы у нас пробудете?

Я пожал плечами.

— Трудно сказать заранее. Как пойдет работа.

— Скажем, месяц?

— Да, пожалуй. Пусть будет месяц.

— И в течение всего этого месяца... — Он наклонился, делая какую-то пометку в паспорте. — В течение всего этого месяца вам не понадобятся больше никакие законы. — Он протянул мне паспорт. — Я уже не говорю о том, что вы можете продлить ваше пребывание у нас на любой разумный срок. А пока пусть будет тридцать дней. Если вам захочет-

ся побыть еще, зайдете шестнадцатого мая в полицию, уплатите доллар... У вас ведь есть доллары?

— Да.

— Вот и прекрасно. Причем совсем не обязательно именно доллар. У нас принимают любую валюту. Рубли, фунты, крузейро...

— У меня нет крузейро, — сказал я. — У меня только доллары, рубли и несколько английских фунтов. Это вас устроит?

— Несомненно. Кстати, чтобы не забыть. Внесите, пожалуйста, девяносто долларов семьдесят два цента.

— С удовольствием, — сказал я. — А зачем?

— Так уж принято. В обеспечение минимума потребностей. К нам еще ни разу не приезжал человек, не имеющий каких-нибудь потребностей.

Я отсчитал девяносто один доллар, и он, не садясь, принялся выписывать квитанцию. От неудобной позы шея его налилась малиновой кровью. Я огляделся. Белый барьер тянулся вдоль всего павильона. По ту сторону барьера радушно улыбались, смеялись, что-то доверительно объясняли таможенные чиновники. По эту сторону нетерпеливо переминались, щелкали замками чемоданов, возбужденно оглядывались пестрые пассажиры. Всю дорогу они лихо радочно листали рекламные проспекты, шумно строили всевозможные планы, тайно и явно предвкушали сладкие денечки и теперь жаждали поскорее преодолеть белый барьер — томные лондонские клерки и их спортивного вида невесты, бесцеремонные оклахомские фермеры в ярких рубашках навыпуск, широких штанах до колен и сандалиях на босу ногу, туринские рабочие со своими румяными женами и многочисленными детьми, мелкие партийные боссы из Аргентины, финские лесорубы с деликатно притушенными

трубочками в зубах, венгерские баскетболистки, иранские студенты, черные профсоюзные деятели из Замбии...

Таможенник вручил мне квитанцию и отсчитал двадцать восемь центов сдачи.

— Вот и все формальности. Надеюсь, я не слишком задержал вас. Желаю вам приятно провести время.

— Спасибо, — сказал я и взял чемодан.

Таможенник смотрел на меня, слегка склонив набок гладкое улыбающееся лицо.

— Через этот турникет, прошу вас, — сказал он. — До свидания. Позвольте еще раз пожелать вам всего хорошего.

Я вышел на площадь вслед за итальянской парой с четырьмя детьми и двумя механическими носильщиками.

Солнце стояло высоко над сизыми горами. На площади все было блестящее, яркое и пестрое. Немного слишком яркое и пестрое, как это обычно бывает в курортных городах. Блестящие красные и оранжевые автобусы, возле которых уже толпились туристы. Блестящая глянцевитая зелень скверов с белыми, синими, желтыми, золотыми павильонами, тентами и киосками. Зеркальные плоскости, вертикальные, горизонтальные и наклонные, вспыхивающие ослепительными горячими зайчиками. Гладкие матовые шестиугольники под ногами и колесами — красные, черные, серые, едва заметно пружинящие, заглушающие шаги... Я поставил чемодан и надел темные очки.

Из всех солнечных городов, в которых мне довелось побывать, этот был, наверное, самым солнечным. И совершенно напрасно. Было бы гораздо легче, если бы он оказался пасмурным, если было бы грязно и слякотно, если бы этот павильон был серым, с цементными стенами и на сером мокром цементе было бы нацарапано что-нибудь похабное.

Унылое и бессмысленное — от скуки. Тогда бы, наверное, сразу захотелось работать. Обязательно захотелось бы, потому что такие вещи раздражают и требуют деятельности... Все-таки трудно привыкнуть к тому, что нищета может быть богатой... И поэтому нет обычного азарта и не хочется немедленно взяться за дело, а хочется сесть в один из этих автобусов, вот в этот красный с синим, и двинуть на пляж, поплавать с аквалангом, обгореть, назначить свидание какой-нибудь киске или отыскать Пека, расположиться с ним в прохладной комнате на полу, вспомнить все хорошее, и чтобы он спрашивал меня про Быкова, про Трансплутон, про новые корабли, в которых я и сам теперь плохо разбираюсь, но все же лучше, чем он, и чтобы он вспоминал про мятеж и хвастался шрамами и своим высоким общественным положением... Это будет очень удобно, если у Пека окажется высокое общественное положение. Хорошо, если бы он оказался, скажем, мэром...

Ко мне неторопливо приблизился, вытирая губы платочком, смуглый полный человек в белом, в круглой белой шапочке набекрень. Шапочка была с прозрачным зеленым козырьком и с зеленой лентой, на которой было написано: «Добро пожаловать». На мочке правого уха у него блестела серьга-приемник.

— С приездом,— сказал человек.

— Здравствуйте,— сказал я.

— Добро пожаловать. Меня зовут Амад.

— А меня — Иван,— сказал я.— Рад познакомиться.

Мы кивнули друг другу и стали смотреть, как туристы рассаживаются по автобусам. Они весело галдели, и теплый ветерок катил от них по площади окурки и мятые конфетные бумажки. На лицо Амада падала зеленая тень козырька.

— Курортники,— сказал он.— Беззаботные и шумные. Сейчас их развезут по отелям, и они немедленно кинутся на пляж.

— С удовольствием прокатился бы на водных лыжах,— заметил я.

— В самом деле? Вот никогда бы не подумал. Вы меньше всего похожи на курортника.

— Так и должно быть,— сказал я.— Я приехал поработать.

— Поработать? Ну что ж, к нам приезжают и для этого. Два года назад к нам приезжал Джонатан Крайс, писал здесь картину.— Он засмеялся.— Потом в Риме его поколотил какой-то папский нунций, не помню фамилии.

— Из-за этой картины?

— Нет, вряд ли. Ничего он здесь не написал. Здесь он дневал и ночевал в казино... Пойдемте выпьем что-нибудь.

— Пойдемте,— сказал я.— Вы мне что-нибудь посоветуете.

— Советовать — моя приятная обязанность,— сказал Амад.

Мы одновременно наклонились и оба взяли за ручку чемодана.

— Не стоит, я сам...

— Нет,— возразил Амад.— Вы гость, а я хозяин... Пойдемте вон в тот бар. Там сейчас пусто.

Мы вошли под голубой тент. Амад усадил меня за столик, поставил чемодан на пустой стул и отправился к стойке. Здесь было прохладно, щелкала холодильная установка. Амад вернулся с подносом. На подносе стояли два высоких стакана и плоские тарелочки с золотистыми от масла ломтиками.

— Не очень крепкое,— сказал Амад,— но зато по-настоящему холодное.

— Я тоже не люблю крепкое с утра.

Я взял стакан и отхлебнул. Было вкусно.

— Глоток — ломтик,— посоветовал Амад.— Глоток — ломтик. Вот так.

Ломтики хрустели и таяли на языке. По-моему, они были лишние. Некоторое время мы молчали, глядя из-под тента на площадь. Автобусы с негромким гулом один за другим уходили в садовые аллеи. Они казались громоздкими, но в их громоздкости было какое-то изящество.

— Все-таки там слишком шумно,— сказал Амад.— Отличные коттеджи, много женщин — на любой вкус, море рядом, но никакой приватности. Думаю, вам это не подойдет.

— Да,— согласился я.— Шум будет мешать. И я не люблю курортников, Амад. Терпеть не могу, когда люди веселятся добросовестно.

Амад кивнул и осторожно положил в рот очередной ломтик. Я смотрел, как он жует. Было что-то профессиональное в сосредоточенном движении его нижней челюсти. Проглотив, он сказал:

— Нет, все-таки синтетика никогда не сравняется с натуральным продуктом. Не та гамма.— Он подвигал губами, тихонько чмокнул и продолжал: — Есть два превосходных отеля в центре города, но, по-моему...

— Да, это тоже не годится,— сказал я.— Отель налагает определенные обязательства. И я не слышал, чтобы кто-нибудь мог написать в отеле что-либо путное.

— Ну, это не совсем так,— возразил Амад, критически разглядывая оставшийся ломтик.— Я читал одну книжку, и там было написано, что ее сочинили именно в отеле. Отель «Флорида».

— А,— сказал я.— Вы правы. Но ведь ваш город не обстреливают из пушек.

— Из пушек? Конечно, нет. Во всяком случае, не как правило.

— Я так и думал. А между тем замечено, что хорошую вещь можно написать только в обстреливаемом отеле.

Амад все-таки взял ломтик.

— Это трудно устроить,— сказал он.— В наше время трудно достать пушку. Кроме того, это очень дорого: отель может потерять клиентуру.

— Отель «Флорида» тоже потерял в свое время клиентуру. Хемингуэй жил там один.

— Кто?

— Хемингуэй.

— А... Но это же было так давно, еще при фашистах. Бремена все-таки переменились, Иван.

— Да,— сказал я.— И в наше время писать в отелях не имеет смысла.

— Бог с ними, с отелями,— сказал Амад.— Я знаю, что вам нужно. Вам нужен пансионат.— Он достал записную книжку.— Называйте условия, попробуем подобрать что-нибудь подходящее.

— Пансионат,— сказал я.— Не знаю. Не думаю, Амад. Вы поймите, я не хочу знакомиться с людьми, с которыми я знакомиться не хочу. Это во-первых. Во-вторых. Кто живет в частных пансионатах? Те же самые курортники, у которых не хватило денег на отдельный коттедж. Они тоже веселятся добросовестно. Они устраивают пикники, междусобойчики и спевки. Ночью они играют на банджо. Кроме того, они хватают всех, до кого могут дотянуться, и принуждают участвовать в конкурсе на самый долгий поцелуй. И главное — все они приезжие. А меня интересует ваша

страна, Амад. Ваш город. Ваши горожане. Я вам скажу, что мне нужно. Мне нужен уютный домик с садом. Умеренное расстояние до центра. Нешумная семья, почтенная хозяйка. Крайне желательна молодая дочка. Представляете, Амад?

Амад взял пустые стаканы, отправился к стойке и вернулся с полными. Теперь в стаканах была бесцветная жидкость, а на тарелочках — микроскопические многоэтажные бутерброды.

— Я знаю такой уютный домик,— заявил Амад.— Вдове сорок пять, дочери двадцать, сыну одиннадцать. Допьем и поедем. Я думаю, вам понравится. Плата обычная, хотя, конечно, дороже, чем в пансионате. Вы надолго приехали?

— На месяц.

— Господи! Всего-то?

— Не знаю, как пойдут дела. Может быть, задержусь еще.

— Обязательно задержитесь,— сказал Амад.— Я вижу, вы совсем не представляете, куда приехали. Вы просто не знаете, как у нас тут весело и ни о чем не надо думать.

Мы допили, поднялись и пошли через площадь под горячим солнцем к стоянке автомобилей. Амад шагал быстро, немного вразвалку, надвинув зеленый козырек на глаза и небрежно помахивая чемоданом. Из таможенного павильона сыпалась очередная порция туристов.

— Хотите — честно? — сказал вдруг Амад.

— Хочу,— сказал я. Что я еще мог сказать? Сорок лет прожил на свете, но так и не научился вежливо уклоняться от этого неприятного вопроса.

— Ничего вы здесь не напишете,— сказал Амад.— Трудно у нас что-нибудь написать.

— Написать что-нибудь всегда трудно,— сказал я. А хорошо все-таки, что я не писатель.

— Охотно верю. Но в таком случае у нас это просто невозможно. Для приезжего, по крайней мере.

— Вы меня пугаете.

— А вы не бойтесь. Вы просто не захотите здесь работать. Вы не усидите за машинкой. Вам будет обидно сидеть за машинкой. Вы знаете, что такое радость жизни?

— Как вам сказать...

— Ничего вы не знаете, Иван. Пока вы еще ничего об этом не знаете. Вам предстоит пройти двенадцать кругов рая. Смешно, конечно, но я вам завидую...

Мы остановились у длинной открытой машины. Амад бросил на заднее сиденье чемодан и распахнул передо мной дверцу.

— Прошу,— сказал он.

— А вы, значит, уже прошли? — спросил я, усаживаясь. Он уселся за руль и включил двигатель.

— Что именно?

— Двенадцать кругов рая.

— Я, Иван, уже давно выбрал себе излюбленный круг,— сказал Амад. Машина бесшумно покатила по площади.— Остальные для меня давно уже не существуют. К сожалению. Это как старость. Со всеми ее привилегиями и недостатками.

Машина промчалась через парк и понеслась по прямой тенистой улице. Я с интересом поглядывал по сторонам, но я ничего не узнавал. Глупо было надеяться узнать что-нибудь. Нас высаживали ночью, лил дождь, семь тысяч измученных курортников стояли на пирсах, глядя на догорающий лайнер. Города мы не видели, вместо города была черная мокрая пустота, мигающая красными

вспышками. Там трещало, бухало, раздирающе скрежетало. «Перебьют нас, как кроликов, в темноте»,— сказал Роберт, и я сейчас же погнал его обратно на паром сгружать броневик. Трап подломился, и броневик упал в воду, и, когда Пек вытащил Роберта, синий от холода Роберт подошел ко мне и сказал, лязгая зубами: «Я же вам говорил, что темно...»

Амад вдруг сказал:

— Когда я был мальчишкой, я жил возле порта, и мы ходили сюда бить заводских. У них у многих были каскеты, и мне проломили нос. Полжизни я проходил с кривым носом, пока не починил его в прошлом году... Любил я подраться в молодости. У меня был кусок свинцовой трубы, и один раз я отсидел шесть месяцев, но это не помогло.

Он замолчал ухмыляясь. Я подождал немного и сказал:

— Хорошую свинцовую трубу теперь не достать. Теперь в моде резиновые дубинки — перекупают у полицейских.

— Точно,— сказал Амад.— Или купит гантели, отпилит один шарик и пользуется. Но ребята пошли уже не те. Теперь за это высылают...

— Да,— сказал я.— А чем вы еще занимались в молодости?

— А вы?

— Я собирался стать межпланетником и тренировался на перегрузки. И еще мы играли в «кто глубже нырнет».

— Мы тоже,— сказал Амад.— На десять метров за автоматами и виски. Там, за пирсами, они лежали ящиками. У меня из носа шла кровь... А когда началась заварушка, мы стали там находить покойников с рельсом на шее и бросили это дело.